



Наталья
ВЕСЕЛОВА

*Умереть
трижды...*

Наталья Веселова
Умереть трижды

«Автор»

2011

Веселова Н. А.

Умереть трижды / Н. А. Веселова — «Автор», 2011

После тяжелого и мучительного дня героиня, несостоявшаяся женщина «за сорок» засыпает в слезах. Пробуждение невероятно: она снова девочка четырнадцати лет, только знает наперед все предстоящие в ее жизни события... Самое время все исправить и начать сначала! Но что из этого выйдет на самом деле? Так ли легко для человека перекрыть самого себя?

© Веселова Н. А., 2011

© Автор, 2011

Наталья Веселова

Умереть трижды

*...скажи ми, Господи,
кончину мою и
число дней моих, кое есть?
Да разумею, что лишаюся аз?*
Пс.38, ст.5

Глава 1

Она не знала, от чего проснулась, – но сразу подумала, что это беда ее разбудила. Обе сложенные ладони оказались зажаты между колен – так она спала в детстве, с тех пор, как мама вышла замуж за Вадима Федоровича. Глаза открывать не стала – да и бесполезно это было: Женя знала, что, лежа, как обычно, на правом боку, не увидит ничего, кроме смутных узоров старенького стенного ковра прямо перед носом – родного, правда, коврика, единственной вещи, унесенной двадцать пять лет назад из материнского дома, – дома, который у нее отняли... украли...

Господи, до чего же больно.

Знаешь, те люди, в общем, правы, заподозрив в тебе воровку, – правы по сути, а не по существу. То есть, хоть телефон ты, конечно, не крада – но ты украда много чего другого. Например, мою совесть. И жизнь моей дочери.

Проклятый телефон лежал прямо у выхода из метро, в грязной кашеце снега, и, наверное, лежал всего несколько секунд, потому что пусть и в полупрозрачных пока сумерках, но не заметить его было невозможно – так ярко выделялся блестящий красный с золотом брелок в виде удивленного котенка. И, главное, телефон был жив и здоров, поэтому, стоило только Жене откинуть крышку, как он сразу приветливо, будто окошко в ночи, зажег свой пестрый экранчик с большеглазыми мультяшками. «Девчонка, скорей всего, потеряла, – жалостливо рассудила Женя. – И сейчас, наверное, рыдает где-нибудь, ищет... Да и от родителей влетит: игрушка-то не из дешевеньких...».

Если бы тебя не было – она бы не умерла сейчас. Она не могла бы умереть, потому что любовь исцеляет все, даже рак. И этой любовью я ее держал – и удержал бы. А ты вмешалась – и разорвалась эта наша с ней нить. Тогда уже оборвалось – все.

Она быстренько добежала до подъезда, взлетела в лифте к своему гнезду (шестой этаж направо, комната, кухня, кладовая и совмещенный санузел, зато хозяйка невредная и с инспекцией появляется не чаще раза в квартал – да и та сводится к чаепитию) – и, аккуратно поставив аппаратуру прямо у двери, достала найденный телефончик из кармана. Н-да, креативная штучка, нечего сказать; богатые, наверное, родители, раз ребенку такой купили... Год назад она бы могла бы со спокойной совестью оставить его себе, но теперь... Теперь она все время словно предстояла перед Игнатом, как он сам – перед Богом. Возможно, потому Церковь и вменяет женщине в обязанность носить платок – и не только в храме, как теперь считается, – а вообще всегда: платок олицетворяет собой мужчину, всегда стоящего между женщиной и Богом, к Которому жена смеет обращаться только опосредованно... Подумала, что окажется просто недостойной любимого человека, если присвоит чужую вещь, как бы временно ей доверенную...

Твое появление – и ее рецидив, разве это могло быть случайностью? А я, дурак, подумал: что я, монах, что ли? Столько лет... Должно же и у меня что-то быть, хоть вскользь, для себя лично...

Впрочем, у нее самой телефон, его подарок, лишь чуть-чуть рангом пониже, а видом, пожалуй, и покрасивее, потому что не обклеен пестрыми детскими наклейками и не увешан брелками... Выйдя в список контактов, Женя сразу вызвала «М». Ну, так и есть: совсем, наверное, маленькая девочка, потому что у нее не «мама», а «мамулёнок». Она усмехнулась – надо же... Интересно, а папа у нее кто? Телефон выдал: «папулька». Она произвольно пробежалась по списку – и промелькнули Ленок, Шурёнок, Манюся, Юрасик, Лизунчик – во рту у Жени произвольно выделилась слюна, словно туда сунули большой кусок чистого сахара. Но вдруг высветилось сухое и деловитое «Деканат» – и дикостью своего несоответствия всему предшествующему даже испугало. А вот еще: «Кафедра английского». Господи, это что, студентка, что ли?! Не может быть – инфантильность какая-то уж запредельная... В любом случае, это приключение с телефоном, раз уж совесть не позволяет его умыкнуть, надо заканчивать, потому что на полу в коридоре полная камера срочных заказов... Женя решительно вызвала «мамулёнка» – и почти сразу услышала в трубке голос настолько не похожий на внутренний образ, возникший перед мысленным взором ранее, что пришлось испытать еще одно маленькое потрясение. Голос прозвучал холодно и настороженно – вероятно, женщина уже знала, что телефон потерян, и ничего хорошего не ждала.

– Видите ли, – заторопилась Женя, стремясь скорей разделаться с неприятной миссией. – Телефон этот я нашла у метро, и теперь хочу вернуть его законному владельцу, а это ваша дочь, как мне кажется. Поэтому не могла бы она позвонить на свой номер – и мы тогда договоримся, где нам встретиться...

Удивительно, но голос «мамулёнка», вернее, целой «мамуленции», как теперь была уверена Женя, ничуть не потеплел от ее приветливости:

– Ждите, – высокомерно бросила та. – Вам позвонят, – и дала отбой.

Позвонили действительно скоро, но только не восторженно лепечущим девичьим голоском, а твердым мужским баритоном, за которым сразу же встало твердое лицо в дымчатых очках, а под ним – строгий галстук на белоснежной рубашке, а на заднем плане мелькнул открытый ноутбук с бесконечными столбцами скучных параграфов.

– Это у вас, как я понимаю, находится телефон Юлии? – голос прозвучал, как у прокурора, толкающего обвинительную речь.

Подсудимая Женя сжалась в комок и залепетала:

– Да, понимаете, я нашла его у метро, и подумала что...

– Поговорим после. У какого метро вы сказали? Отлично... Вы не очень далеко от него сейчас, надеюсь? Так вот, будьте там через четверть часа, а мы с Юлией подождем у касс.

Женя попыталась собрать остатки своего растоптанного достоинства:

– Послушайте, вы как-то странно разговариваете – и вообще, я ждала не вашего звонка, а... – но подозрительная тишина на другом конце провода заставила ее взглянуть на экран – и убедиться, что на нем уже снова глупо тарашились розовые покемончики.

«Ну и хамство... – она едва перевела дыхание. – Им же делают любезность – и хоть бы одно слово благодарности, не говоря уже о том, что время и место встречи выбирать должна была я!». Было очевидно, что через четверть часа ей предстоит приятно пообщаться с высокомерной сволочью, которая примет все как должное и спасибо не скажет! Надо, полагать, это и есть «папулька» из дочкиного списочка... Наказать его и не прийти, пусть попрыгает? А с другой стороны, лучше уж сразу свалить все это с плеч и забыть... Да подавитесь своей драгоценностью, подумаешь... Тем более, что на душе и так гнуснее некуда... Женя снова влезла в скинутую было куртку и сунула ноги в ботинки.

А оказалось, что Господь только потому и позволял мне удерживать Машу, из последних сил здесь держать, что у меня никого больше не было, я в кулаке себя зажал – и как личность, и как мужчину – и остался только отцом. Но ведь и Он – Отец, вот и принял жертву.

У касс, как всегда, толклась куча народу, но *их* она сразу узнала – вернее, его. Никакой это был не «папулька», а парень едва-едва за двадцать, но уже выработавший нестандартный личный стиль, сознательно вросший в него и, по всему виду, решивший твердо его придерживаться всю жизнь. Его ровесники зимой – поголовно в шнурованных ботинках или теплых кроссовках, спортивных куртках и без шапок (у некоторых они в кармане, сразу сдернутые с головы, как только упомянутая голова исчезла из виду беспокойной бабушки). Этот носил строгое длинное пальто и утепленную модную кепку для старшего возраста – очки, правда, стекла имели прозрачные, зато глаза сквозь них смотрели такие, что лучше б их прятать, – сверлили, как два алмазных буравчика, так и казалось, что взгляд уже выходит из твоего затылка. Девушка, неуверенно жавшаяся к молодому человеку, была отчетливо похожа на овцу – прямо даже неудобно делалось. Говорят, каждый похож на какое-то животное, – но не да такой же степени: тут хоть в детском спектакле играй без грима. Широко расставленные золотистые испуганные глаза, бледные кудряшки, неправильный длинный, но тупой носик... И носила она дубленку цвета овечьей шерсти – с кудрявыми отворотами. Интересно, это специально или по глупости, пронеслось в голове у Жени, когда она, не отдавая себе отчета в своем выборе, уверенно направлялась именно к этой паре. В конце концов, чего она так боится? Телефон принадлежит не парню, она просто сейчас отдаст его этой девушке, развернется и уйдет, а с ним даже разговаривать не станет...

– Здравствуйте, это ведь вы – Юлия? И это ваш у меня, наверное... – но договорить Жене не дали.

Строгий парнишка вдруг вцепился ей в плечо такой акульей хваткой, что показалось, что на теле сомкнулись не пальцы, а челюсти. С довольным и даже торжествующим видом парень обернулся к своей по-прежнему безучастной овце (во всяком случае, ее лицо до сих пор не продемонстрировало никакой мимики):

– Я же говорил – а ты не верила! Она тебя якобы никогда не видела, а сразу узнала! С чего бы это? А? – и к Жене: – Ну что, попалась, деловая ты наша?

– Да вы что... – забормотала, тщетно пытаясь вырваться, обескураженная Женя. – Пустите сейчас же... С ума вы, что ли, сошли...

Она вообще перестала понимать происходящее – вдруг очень захотелось позвать на помощь, но она как-то постеснялась, и решила пока выпутываться своими силами:

– Молодой человек, вы что, спятили? – осмелев, продолжала биться она.

Но, ничуть не ослабляя хватку, он одним толчком бросил Женю к стене и прижал там – да так, что сопротивляться оказалось бесполезно: при каждой попытке вырваться, он несильно, но ощутимо ударял ее спиной и затылком о мраморную стенку. А девушка все стояла молча, и выражение ее лица, про которое уже хотелось сказать «морда», оставалось парадоксально бесстрастным.

А ты вторглась – жестко так, напористо – и я сломался. Сломался и Машку погубил. Ты не думай, я тебя не так уж и виню: человек ты... извини... дремучий... живешь инстинктами. Надо – берешь...

– Быстро давай телефон, – прошипел парень Жене в лицо. – И только попробуй мне что-нибудь... пожалеешь...

Готовая отделаться от него хоть на каких условиях, Женя шустро вытащила мобильник из кармана, а мучитель сразу его выхватил и сунул девушке:

– Твой?

Та кивнула и спрятала вещь в карман. Казалось, инцидент был исчерпан, но очкарик все еще не отпускал жертву.

– Да уймите же вы его, наконец! – сдавленно пискнула пытаемая, еще не сообразив, нужно ли привлекать внимание общественности к своему явно незавидному положению.

Девушка коснулась рукава садиста, и Женя впервые услышала ее тихое блеяние:

– Пойдем, Юрасик... – овца оставалась овцой до конца.

«Не фигу себе Юрасик...» – промелькнуло в голове у по-прежнему прижатой к стене Жени, которую Юрасик выпустить и не думал.

– У тебя вообще есть какое-нибудь правовое сознание? – вдруг сердито спросил он девушку. – Ты понимаешь, что ты предлагаешь? Вот сейчас я ее отпущу, а она отряхнется и снова пойдет воровать у людей телефоны, а потом вымогать у них деньги. Она же этим живет, пойми! Да если бы не я, ты бы ей уже все содержимое кошелька отдала!

В глазах у Жени потемнело, она задохнулась, внезапно прозрев: ах, вот оно что! Эта гнида еще смеет... Она собрала все свои силы и толкнула его в грудь с криком:

– Да ты ненормальный! Урод! Придурок! Да пусти ты, черт!

Но «черт» держал ее крепко, и от толчка не пошатнулся, а неожиданно пришел в полный восторг:

– А вот к нам и лексикон наш родной вернулся... Ничего, у нас свой есть... Юля, мы сейчас ее сдаем в милицию, и ты пишешь заявление, что она выкрала сотовый из твоей сумки, а я подтвержу. Пусть посидит годик-другой, может, потом nepовадно будет... Эй, товарищ милиционер! Или, гм, как там сейчас положено... Господин полицейский!

От контрольного пункта лениво отделилось маленькое чернявое существо с темными щелками инородческих глаз, но в серой форме и при дубинке, которой оно сразу же начало недвусмысленно поигрывать, приближаясь к месту разборки.

Жизнь начала превращаться в отчетливый и уродливый кошмар:

– Да вы обалдели все!! – уже со слезами вскричала Женя. – Что я у вас украли?! Я вам, наоборот, принесла!! Что вообще здесь происходит?!

Гастробайтер в сержантских погонах приблизился; его плоское коричневое лицо, тоже ассоциировавшееся только с мордой, осталось каменным, как у хакасской «бабы», но в глубине мутных черных глазок вдруг сверкнула звериная, азиатская свирепость – и что-то вроде порочного предвкушения... Он козырнул:

– В чем дело, гражданин? – гнусный акцент, резанувший слух, не оставлял никакой надежды, кроме отчаянья обреченных.

– Этот парень на меня напал! – первая выкрикнула Женя, стремясь перехватить инициативу.

– Да, напал, – как ни в чем не бывало, согласился молодой человек. – Я был вынужден это сделать, чтобы задержать воровку.

– Я ничего у вас не украли! – завопила Женя так, что все прохожие оглянулись. – Девушка, да скажите же правду!!

Овечьи глаза остались невозмутимо золотистыми. Юля прошептала:

– Не знаю...

– Да чего ты не знаешь! Чего тут не понять?! – возмутился ее парень. – Она, товарищ милиционер... полицейский... Вытянула у моей девушки из сумки дорогой телефон, а потом позвонила и стала вымогать деньги, чтоб его вернуть.

– Да ты псих!!! – сорвалась в рыдания и визг Женя. – Я ничего такого не делала! Не слушайте его, он же просто сумасшедший!!!

– Я – юрист... Студент юридического факультета, – веско сказал юноша. – Меня этим не проведешь, я такие вещи с ходу просекаю. Прошу вас ее задержать, а мы сейчас напишем заявление. Да, Юля?

– Да нельзя же быть такой идиоткой! Вы у кого на поводе идете!! – переключилась на девицу Женя, смутно чувствуя, что в этой ситуации Игнат вел бы себя как-то по-другому, да и вообще не оказался бы в такой ситуации. – Как вы можете ни в чем не виновного человека оговаривать по указке этого подлеца!

– Я не знаю... – с прежней твердостью повторила девица; похоже, это был девиз ее жизни.

– Ах, ты еще выражаться! Ну, ты у меня по полной огребешь, тварь! – обиделся юрист.

– Господи, да что же это творится! – беспомощно всхлипнула Женя, полностью потерявшая точку опоры.

А я оказался слабаком. Может, оттого, что превознесся, иногда в душе начинал себя аскетом считать. Досчитался. Кругом виноват и дочь упустил.

– Так, граждане, в комнату милиции... полиции... – запуталось и само существо с блестящими пуговицами и акцентом, – пройдемте для разбирательства.

Разбирательство оказалось недолгим.

– А ну выворачивай карманы! Салман, давай, помоги ей! – коротко приказал другой полицейский, по наружности славянин, но заплывший салом так, что на задворках сознания у Жени проплыло: «Пацук...».

И тут же бесцеремонные коричневые руки, поросшие колючим, как проволока, черным ворсом, уверенно зашныряли по карманам ее расстегнутой куртки, а потом, без всякого смущения пройдясь спереди и сзади по джинсам, деловито нырнули и под свитер, жестко шурунув по голому телу. Женя вдруг вспомнила, что где-то слышала, будто личный досмотр имеет право производить только лицо одного пола с досматриваемым. Она гадливо рванулась прочь:

– Меня имеет право обыскивать только женщина!

– А ты проверь, каого он пола. Разрешаю, – хмыкнул Пацук, и ответом ему стал дружный регот, донесшийся из «обезьянника», где один до бесчувствия надравшийся обитатель размеренно блевал, лежа на полу лицом вниз, а два других повисли на прутьях клетки, с интересом наблюдая бесплатный спектакль; их хари (уже не морды, морда ведь и у льва – исполненная благородства) выражали живейший интерес и одобрение.

Добычей Салмана стал второй телефон – Женин собственный, подарок Игната, и оттого бесценный. Тот просто отдал его Жене, когда ее старенький черно-белый «Сименс» скончался от старости. Ему самому коллеги преподнесли это роскошное коричнево-золотое чудо ко дню рождения – но, так как в их учительском коллективе вторым мужчиной был только физрук, то и вещица, как ни крути, а выглядела более дамской игрушкой, чем надежным мужским телефоном. Для Жени он был почти живым существом, хранившим любимый голос, любимую музыку, любимые фотографии, краткие, но драгоценные эсэмэски... Даже прикосновение к нему чужих рук казалось чем-то оскверняющим – и Женя попыталась выхватить его обратно:

– Это мой, не трогайте!

– Ее, как же! – вскипел Юрасик. – Чтоб у такой прошмандовки такой сотовый! Два как минимум сегодня хапнула! Так, давайте бумагу, товарищ дежурный! Юля, вот бери ручку, пиши...

Юля вяло опустилась на стул, придвинула лист бумаги и явно в ожидании диктовки подняла свое неподвижное лицо на Юрасика.

Жене стало вдруг все безразлично, потому что в какой-то отдельный очень ясный момент, она поняла, что неожиданно попала в безвыходную ситуацию, как в петлю, где ей уготована пассивная роль жертвы, и любая попытка бороться лишь ту же затянет веревку. Например, вот возьмут они, запрут ее за непослушание в обезьянник к этим двоим, а сами выйдут... Ничего невозможного... Со дна ее души поднялась густая тягучая муть, обволокла сознание, притупила чувства. Сейчас эта тупая овца (а как иначе ее назвать) напишет все, что велит ей ретивый охранитель законности и правопорядка – и тогда... Нет, не может быть, это же просто бред какой-то, спит она, что ли?

– ...обнаружила, что моя сумка расстегнута, и в ней отсутствует принадлежащий мне телефон марки... Юля, какая у него марка? – уже бойко диктовал молодой человек.

– А ничего, тетка, губа у тебя не дура, – между тем вертел Пацук собственный Женин телефон. – У кого, интересно, вытянула?

– Я могу доказать, что он мой, – неожиданно спокойно произнесла Женя. – Я все знаю, что в нем есть, и могу рассказать.

– Н-да? Ну, рассказывай, послушаем, – сальный старшина открыл стол, небрежно швырнул туда телефон и шумно задвинул ящик.

Подпершись кулаком, он с насмешливой внимательностью уставился задержанной в переносицу наглыми бесцветными глазками, утонувшими глубоко в пухлом, как пуховая подушка, лице.

– Ну... – растерялась Женя. – Вы его достаньте и смотрите на экран, а я буду говорить, что там...

– Что достать, не понял? – весело поглядел ей в глаза старшина.

– Мой телефон... – и Женя снова начала терять ощущение реальности.

– Какой телефон? Салман, ты видел здесь какой-нибудь телефон?

– Не видел. Вот только рабочий наш всегда здесь стоял, – невозмутимо отозвался его напарник, глумливо постукивая себя дубинкой по ладони.

– ...и моя мать сообщила, что мой мобильный телефон находится у неизвестной, которая готова вернуть его на определенных условиях и предлагает встретиться в метро. На месте встречи незнакомая женщина начала вымогать у меня деньги за возвращение телефона и была задержана моим другом... – упоенно продолжал вещать юный правовед.

– Да вы что... – задрожала с ног до головы Женя. – Да вы... какая же вы милиция... Вы и сами воры похлеще... Вы не полицейские! Вы – полицаи! Я жаловаться буду... – и она попятилась прямо в сторону «обезьянника».

– Никшни, дура, – вдруг раздался оттуда хриплый жесткий шепот. – Уроют ведь...

Женя осеклась, но в ее голове билась единственная отчаянная мысль: ограбили! Просто и цинично ограбили! И телефона – единственной своей настоящей ценности – она больше никогда не увидит...

Лицо ее задержалось: так всегда происходило при сильном волнении, что тик волнами проходил по лицу, и унять его не было никакой возможности...

– Ну вот, теперь здесь подписывай! – удовлетворенно выпрямился Юрасик, но возникшую паузу вдруг заполнило короткое, как вздох: «Не знаю...».

– Не валяй дурака, – забеспокоился он. – Ты, главное, подписывай, а все остальное я беру на себя.

– Я не знаю... – еще решительнее выдохнула девушка. – Пойдем, Юрасик...

Молодой юрист смущенно кашлянул, оглянувшись на совсем другим занятым милиционерам, пробормотал:

– Секундочку... Я сейчас улажу... Юля, на минуточку, – и схватив «овечку» за руку, мгновенно выскользнул с нею за дверь.

На него никто даже не обернулся – «полицаи» с непонимающим видом переглядывались, притворно обеспокоено шаря по столу и издевательски повторяя: «Какой телефон? Откуда телефон?». Любительский спектакль доставлял участникам явное удовольствие, и при этом они демонстративно не смотрели в сторону задержанной.

– Каселёк, каселёк, какой каселёк! – заголосил вдруг один из трезвых обитателей клетки, заглушая другого, быстро и грубо шепнувшему:

– Вали быстрее... Вали, пока они не передумали... Пропадешь, дура, плюнь на трубу... Беги...

И Женя подхватила и побежала – вон из комнаты, мимо спиной стоявшего Юрасика, припершего Юлю к стенке и что-то горячо ей втолковывавшего, вверх по ступенькам, бегом по подземному переходу, по мартовской слякоти среди еще не начавших серьезно таять, но почерневших и пожухлых сугробов в человеческий рост, по узкой мокрой тропинке к зеленой

точечной «хрущевке», на шестой этаж – и только захлопнув за собой тяжелую стальную дверь, сползла по ней и беззвучно заколотилась на полу.

Теперь уже исправлять поздно, но и к тебе, сама, понимаешь, я больше ничего не чувствую... В смысле – ничего хорошего. Убил бы, если б это помогло поднять Машку. Да не поможет, поэтому живи.

Когда немного отпустило, она словно представила себя со стороны: немолодая и не молодящаяся (не на что), в джинсах, ботах и пуховике, добытых на Троицком рынке, с отросшими темно-серыми корнями давно не подкрашиваемых (некогда) волос, с руками без маникюра (это можно бы, да Игнат не одобрит), с неприятно подмалеванным лицом... Конечно, почему бы не обратиться к ней на само собой разумеющееся «ты», безошибочным чутьем определив, что по статусу она их неизмеримо ниже, не обшарить мерзкими лапами, не обвинить в воровстве, не ограбить безнаказанно и самоуверенно... Такие – всегда жертвы, потому что они и есть – «народ». Масса. Население. Вот Ариадна, сестра Игната, – разве не вернула бы она найденный телефон? Конечно, вернула бы, и таким же способом, что и она, Женя. Только этот гнусный Юрасик вежливо бы благодарил ее, толкал бы в бок свою странную Юлю – мол, скажи спасибо – а, прощаясь, еще бы и ручку, может, порывался поцеловать... А она бы с неподражаемым своим простым достоинством милостиво кивнула – и ушла королевой. А вроде бы внешне – ничего особенного... И одета далеко не из бутика – но носит все так, будто на ней мехов и бриллиантов на миллион долларов... И полицаи бы, если б до них дошло, конечно, перед ней бы оробели, с мест повскакали и долго извинялись, называя по имени-отчеству... Говорят, с этим нужно родиться, а научиться нельзя. Неправда это! Просто надо изначально оказаться в нужном кругу, среди такой простой и непонятной интеллигенции, – и постепенно впитаешь их манеру держаться... Даже в том жалком состоянии, в котором они сейчас, – при нищенских зарплатах, подневольные, лишенные естественных своих привилегий, – эти люди как-то ухитряются внушать к себе уважение. Вот и она, Женя, перед ними трепещет и все время боится ляпнуть не то или сесть не так... Им-то хорошо, они свои университеты закончили, за таких же замуж повыходили, а ей не дали... Не дали стать учителем, как мечталось, читать не дали, сколько хотелось, – потому что оказалась она тогда лишней... Нет, только не сейчас об этом вспоминать... «Не делай добра – не получишь зла» – классная поговорка, ничего не скажешь. Выбросила бы она из Юлиного телефона сим-карту в помойку, наклейки бы дурацкие отлепила, память стерла – и вот бы готовый запасной крутой сотовый, а то и продать в тяжелую минутку... А теперь лишилась и драгоценного подарка, и в материальном убытке осталась – хорошо, цепочки золотой на шее не было – как пить дать бы тоже отобрали, ублюдки узкоглазые... Под горячую руку она и «Пацука» к ним причислила – да и то сказать, его шелки мало чем отличались... Сволочи, сволочи, сволочи! Думают, если простой человек, так можно ему в душу плевать... Ничего, найдется и на них управа...

Вечером ждал Женю еще один удар, последний. Без звонка – а как теперь дозвониться-то, когда городского в помине нет, а мобильный отняли – пришел к ней Игнат, уже четвертый день не появлявшийся, а в трубку холодно обрывавший. Он едва порог переступил, она к нему на грудь – и жаловаться: на ретивого Юрасика, на тупоголовую овцу, на наглых полицаев, на страшных мужиков из клетки – но он вдруг жестко отстранил ее, и в кресло, как обычно, не сел – обреченно прислонился к шкафу и прикрыл глаза:

– Да провались он, твой телефон. Все. Маша умирает. Забрали наверх, в реанимацию, говорят – агония. И меня выгнали. Черт бы тебя побрал, Женя. Черт бы тебя побрал.

И ей стало страшно, потому что именно от него, именно таких слов услышать не мог никто и никогда – в смысле, услышать всуе, в переносном, то есть, смысле. Потому что раб Божий Игнатий был человеком верующим не напоказ, а взаправду, и за словами следил, любя повторять: «От слов своих оправдаетесь, и от слов своих осудитесь», – и раз уж произнес что-

нибудь, значит, знал, что говорит, и желал – именно этого. И именно ей, его единственного в жизни любимшей...

Сидеть на месте. Я знаю, где выход.

Неужели это были последние слова, которые она от него в жизни услышала?!

К ночи ослепнув от слез, отупев от разламывающей головной боли, она и сама не помнила, как повалилась, оглушенная, в холодную постель, как постепенно забылась в слезах, – и вот, среди ночи мощным толчком разбудило ее горе, чтоб ей не спать, терзаясь, до рассвета...

Женя открыла глаза и увидела, что ожидала, что всю жизнь, просыпаясь, видела: белый на бордовом (теперь, в темноте, черном) узор еще бабушкиного ковра. Она тупо уставилась на него, стараясь сообразить, что это за странный, будто знакомый запах в комнате, – и вдруг ее стукнуло: это же «Карбофос» – средство против тараканов, такое же точно, каким мама боролась с ними в их квартире – там, в Веселом Поселке! Игнат уверял, что обонятельная память – самая сильная из всех, что знакомый, но забытый запах, внезапно вернувшийся, может воссоздать в памяти человека целые картины прошлого, даже заставить услышать звуки! Это, определенно, был именно тот запах. Но откуда ему взяться? В их доме нет тараканов, да если б и появились, – кому бы пришло в голову морить их допотопным средством, имея широкий выбор современных и действенных? Да и откуда бы его взять? Значит, это просто похожий запах, но прав был Игнат: вот уже, как живое, встает перед ней мамино молодое лицо – она навсегда осталась молодой, умерев в тридцать три года не так, как в церкви просят – «безболезненно, непостыдно, мирно», – а прямо наоборот: мучительно, срамно и скандально... Мама на кухне раскатывает тесто и улыбается, тыльной стороной белой от муки кисти пытается согнать со лба прилипшую светлую прядь, и говорит, как всегда, смущенной скороговоркой: «Самый плохой брак – это лучше, чем «разведенка», поняла? Самый плохой – а нам с тобой еще повезло, поняла?». Ой... Давно это было... Лет двадцать пять... Сколько ей сейчас, ровно сорок? А тогда было около тринадцати... Двадцать семь, значит... И маме оставался еще целый год... Тот день... Зефир, сухое вино... Если б тогда знать...

Вдруг Женю словно обдало морозом изнутри, и она замерла, как подстреленная: прямо за стеной, в коридоре ее съемной квартиры будто бы стукнула не входная, а какая-то другая, внутренняя, дверь (которой не было вообще!), и мимо Жениной двери прошлепали громкие ленивые шаги, будто кто-то, не таясь, шел в кожаных тапках. Отчетливо щелкнул выключатель, и в крошечной тишине звонко зажурчало – а потом грянул водопад из туалетного бачка! Снова щелчок – и вот уже шаги лениво направляются обратно, минуя ее комнату, и повторился стук второй – отсутствующей! – двери. Выпучив глаза, не моргая и не дыша, Женя пялилась в ковер. «У соседей... – пронеслось в голове. – Просто тихо, как в могиле, и от этого все кажется ближе...». Но сердце, подпрыгнувшее к горлу и затрепетавшее было там, вдруг оборвалось и рухнуло вниз. Сквозь вязкую, почти парализующую дурноту, сразу навалившуюся, как тяжелая засаленная перина, она вновь слышала шаги – легкие, женские – и не у каких не у соседей, потому что она уже готова была их узнать...

Глава 2

Ему вдруг пришло в голову: каждому обреченному или, что хуже, тому, у кого обречен близкий человек, кажется, что все остальные – остающиеся – бессмертны. Еще до того, как бурный рецидив подкосил и в неделю свалил Машу, уже уверенно казавшуюся ему спасенной вопреки всем научным прогнозам, он все чаще ловил себя на незаконных мыслях. Например, когда его девятиклассники решали очередной тест, а он вынужденно бездельничал за столом, для порядка оглядывая склоненные головы (правильно ли склонены, не под стол ли глядят на шпаргалку с датами), его взгляд вдруг замирал на какой-нибудь отдельной девичьей голове. Вот взять, например, Колоскову эту. Троечница по всем предметам, что свидетельство-

вует о тотальной неодаренности, личико обыденное до тошноты, папа – водитель маршрутки, мама – швея в мелкой фирме, сама – сонная, мутноглазая... Пятнадцать лет девчонке, а фигурой – табуретка табуреткой, волосы выкрашены полосато, как это теперь у них принято, да неухожены, давно не стрижены, прыщи подростковые выдавлены и замазаны дешевым гримом, отчего просвечивают зловеще-фиолетово... Сейчас в контрольной опять все перепутает – да ей и плевать на это, родителям тоже...

Но! Есть огромное жирное «но». Он у них классный руководитель с пятого класса (такое уж у него правило: взял класс, так веди до выпускного, какой Бог дал, на других не спихивай) – так вот, Настя Колоскова с тех пор ни разу ничем не болела. Прогуливала – это да, а вот по болезни никогда не отсутствовала. Иммунитет несокрушимый, никакой грипп ее не брал, ни свиной, ни обычный, кишечная палочка, раз отравившая в походе весь класс (после утомительного перехода под палящим солнцем воды из чистого на вид ручья напились, дуралеи), перед организмом Колосковой оказалась бессильна. Зубы – как у негритоски, ни одного кариеса за всю жизнь (и это он досконально знал: к зубному ведь тоже ему с ними раз в год таскаться полагалось), и первый нескоро случится... Все это – наследственность, обеспеченная многими десятками крепких поколений крестьян, на воздухе трудившихся и потреблявших экологически чистую пищу, возвращенную на пахучем навозе. Словом, здоровая свиноматка, предназначенная быть родильной машиной, раз в год давать приплод в виде таких же здоровых детенышей – будущих солдат, рабочих, обслуги – и производительниц.

Но эту задачу свою, милостивым Богом перед ней поставленную, выполнять она, конечно, не станет: она же не деревенская клуша, как ее прабабка из деревни Большие Говны, родившая четырнадцать, из которых одиннадцать похоронила в младенчестве (все правильно: то знаменитая «глотошная», выкашивавшая враз все детское население волости, то коллективизация с раскулачиванием), а современная городская девушка, которой счастье привалило оказаться в стольном Петербурге. Не четырнадцать она, конечно, родит (здесь же русской печки нет, чтоб туда детей вповалку складывать, а в малогабаритной квартире куда ты их денешь, да без огорода и коровы – чем накормишь), а максимум троих от мужа-трудяги, автослесаря, например. Вон, за Вовку Малова через три года выскочит. Тот фамилию свою до сих пор через «о» пишет, раз и навсегда усвоив, что русский язык – таинственный и недоступный, и если «а» слышится, то пиши «о» – не ошибешься. Зато машину – любую, от «Мерседеса» до «Запорожца» – может голыми руками разобрать-собрать, играючи устранив любую неурядицу, да еще и приладить попутно изобретенное мелкое новшество, до которого иноземные инженеры еще лет десять всем концерном не додумаются... Он Малов, и сейчас со своей «Камчатки» на Настю слишком пристально поглядывает – о женитьбе не думает, конечно, куда ему, когда гормоны бурлят, как вода в чайнике, и ему бы сейчас Колоскову эту просто завалить на диванчик. Но дремучий инстинкт подсказывает его взгляду верное направление: туда, где в перспективе – продолжение здорового сильного рода... Ведь не смотрит же на хрупкую болезненную Лизу Сокольскую, красавицу с глазами-блюдами, что после девятого в музучилище при Консерватории уйдет: тот же инстинкт давно шепнул: не по Сеньке шапка! И вот, найдется в свой срок подходящий диванчик, да «по залету» распишутся, родят бутуза и заживут не хуже других. Пока до второго дозреют – аборт пять-семь Настя сделает, но ведь без этого как? Сначала же надо честь по чести обустроиться, киноцентр купить приличный, с колонками такими, «чтоб соседи умерли», да чтоб плоский экран в полстены, компьютер со всеми прибабасами, технику, какую положено, да машину покруче, чтоб за продуктами по субботам выезжать не стыдно, да мебель, чтоб как в любимом Настькином сериале, да еще ковры и хрусталь – это уж само собой... А там можно подумать и о втором-третьем, если Настьке от работы отдохнуть охота припадет... Ну, Сам-то, конечно, автомехаником, она где-нибудь кассиром в супермаркете – ну, может, курсы закончит какие-нибудь, в ЖЭКе сядет бухгалтером... Любовь? А чо, он же все в дом несет – значит, любит; хороший мужик, работающий, чего еще желать? Вечера –

перед телевизором, дети – на компьютере играют, как положено. А чо? Пускай развиваются. В выходные летом – на шашлыки, зимой – в торговый комплекс всей семьей, там и затариться как следует, и для детей аттракционы... Четвертого родить? Да они чо – кролики? Куда нищету-то плодить? Аборты дешевые, чик – и готово. Словом, укрепится типичная российская семья, образцовая, даже, можно сказать. Оба с генами своими неперешибаемыми доживут лет до девяноста пяти. Она превратится в жирную сварливую жабу, мучение детей и внуков, он в морщинистого истукана, с утра до ночи плящущегося в какой-нибудь экран... Потом их без всяких долгих слез и отпеваний кремируют, замуруют в стенку – и отправятся они в давно им уготованный уютный уголок ада, где еще наивно удивятся – а чо они такого сделали-то, ведь жили же как все, никого не трогали...

Самое страшное, что Колосову эту с Маловым он так, наугад из своего стоячего пруда под названием «9-В» вытащил, для примера... А ведь таких – большинство подавляющее, даже задавляющее, и в принципе, хоть он и дара прозорливости не имеет, а примерную судьбу почти каждой посредственности из своего класса не хуже любого пророка предскажет. Это, конечно, без учета возможных форс-мажорных обстоятельств в судьбе каждого – ну, так на то он и не пророк.

Знал учитель истории раб Божий Игнатий, что мысли такие – настолько от христианских далеки, что заслуживает за них он сам не уголка адского, а мрачного Тартара, а через него – транзитом – прямо в геенну огненную на веки вечные. Но думать себе не запретишь, и, кроме того, почему Достоевскому можно, а ему – нельзя? Ведь и тот, когда думал, еще не знал, что он Достоевский, то есть, в том смысле, какой мы теперь в эту фамилию вкладываем. Думал, думал, додумался и не постеснялся увековечить: «Без Православия русский человек – дрянь». Сказал, как припечатал, и если в сторону отбросить всяческий гуманизм (который всегда сатанизм на поверку), то, самому подумав, приходилось соглашаться.

Спорить на эту тему было опасно – да и не с кем спорить. Близкие друзья под благовидными предложениями бросили его, еще когда пятилетней Маше был поставлен невероятный и неправдоподобный диагноз «острый лейкоз». Рассосались, как рубцы. Потому что когда случается то-то плохое, но поправимое, тут можно проявить умеренное сочувствие и поддержку, и, когда поправимое само поправится, вернуть все на круги своя. Но когда в перспективе – смерть чужого ребенка, то тут лучше особо со своим состраданием не соваться, потому что лечение заоблачно дорогое, и как бы не пришлось иномарку или даже покрупнее что продавать, чтобы за сохранение своего человеческого лица расплатиться: ведь друг должен быть другом до конца... Так друзья Игната мужского пола самоликвидировались еще десять лет назад, и поговорил он на волновавшую тему раз с директрисой-литераторшей, казалось, мировой бабой, его ровесницей. А она ему вдруг чуть глаза не выцарапала: оказалось, ее бабушку, подпольщицу на оккупированной территории, немцы, допытав до бессознательного состояния, повесили. Никого она врагу не выдала, чем спасла целый огромный партизанский отряд, да еще и в морду главному гестаповцу плюнула кровью, хотя ее, можно сказать, разделили живьем. Да только писатель Фадеев в их село не приехал, геройский бабушкин подвиг не описал, поэтому посмертно ей не то что Звезды Героя, но и скромной медальки не дали. Да, так вот, и была та бабушка воинствующей атеисткой-комсомолкой, до войны создала и возглавила в районе комитет «Безбожник», лично срывала по домам со стен иконы и устраивала им красивые ночные аутодафе... Так, что, мол, она, по-вашему, Игнат Андреевич, «дрянь», так сказать, по Достоевскому? Ответить утвердительно означало сегодня же начать искать другое место работы, да хорошо бы еще без статьи в трудовой книжке, поэтому он ответил осторожно и, как потом, поразмыслив, решил, правильно:

– Нет, конечно, просто она, хоть уже и успела родить вашего отца, Марина Петровна, но была еще молодой, горячее, одурманенной пропагандой максималисткой. Но, конечно, крещеной, раз семнадцатого года рождения. Как, например, Зоя Космодемьянская, внучка священ-

ника. А родилась ваша бабушка в семье верующих хлебопашцев, причащавшихся, конечно, и ее, маленькую, в церковь водивших, – пока та стояла, разумеется. А благодать Божья – она не разовое понятие, а постоянное. Род праведника – а в том роду, может, все такие были – благословляется, уж не помню до какого колена, так что, скорей всего, и вы под это благословение попадаете. И что она, простите, просто по дурости под чье-то влияние девчонкой попала, – то Господь прекрасно знал, потому что видел ее хорошее чистое сердце. Потому и укрепил при пытках, послал мученическую смерть за други своя, и – там – я уверен, эта ваша «безбожница» венец носит... Вообще, думаю, если кто-то из нас вдруг, что маловероятно, правда, в Раю окажется, то очень удивится, встретив там некоторых лиц, по которым, как нам кажется, ад плачет. А может, и не найдет в райских кущах тех, кому, думалось, туда прямая дорога...

– Надо же, говорит, как пишет... – криво усмехнулась директриса. – В церкви, что ль, научили?

– Не только... – уклонился Игнат, не желая распространяться на тему Великой Отечественной, которая его самого ставила в тупик.

На самом деле, невозможная, как ни посмотри, Победа, вопреки всему свершившаяся, в духовном смысле вполне оправдывалась. Красивую легенду о Митрополите Гор Ливанских Илии, якобы, прорвавшемся в начале войны к самому Сталину и научившего его, как выстоять, Игнат отвергал (с сожалением, правда) – именно за красоту, а рассуждал просто. Ведь те сражавшиеся против врага молодые люди, думал он, наследники не успевшей еще рассеяться благодати, лежащей на многих русских родах, были в подавляющем большинстве *девственниками и девственницами*. Повальные безобразия тому поколению были еще несвойственны, они начались со следующего. Чего не скажешь, кстати, о немецкой молодежи. А ведь кровь мученически убитых за правду девственников и девственниц – *вопиет к Небу об отмщении*. И отмщение не замедлило, только и всего... Про тех, даже выживших, еще нельзя было сказать «дрянь», хоть и Православия они уж не признавали: они еще по инерции хранили христианские обычаи и традиции – а вот когда выросли их дети, знаменитые «шестидесятники» – вот тогда и пошло-поехало...

В церкви Игнат тоже понимания не нашел. Их приход считался «правым», то есть, анти-семитски-монархическим, где соответственно настроенные прихожане группировались вокруг молодого и страстного батюшки Сергея, целибата-женоненавистника, непримиримого врага демократии и евреев. Демократию, евреев и женщин он каждое воскресенье громил с амвона; случайно забредшие крещеные евреи исчезали из храма, прослушав первую же проповедь, а из женщин прижились только убежденные старые девы в полуботинках, да измотанные нуждой и рабским трудом многодетные матери – единственные две категории слабого пола, которые, по мнению, о.Сергия, с некоторой натяжкой и оговорками, могли быть когда-то в дальней перспективе допущены в Рай. Попытки женской самореализации в какой-либо другой области, кроме семейной, вызывали у священника глухую ярость, а пунктиком психического помешательства был женский платок – до такой степени, что необходимости вечно, даже в супружеской спальне, покрывать голову платком и только платком (потому что шляпок, шарфиков и беретов Богородица не носила) он целиком посвятил не одну проповедь. Вторым пунктиком его была богоносность русского народа, а третьим – неизбежность восстановления Православного Царства с укладом жизни, законами и традициями образца не позднее семнадцатого века. Вот ему-то Игнат однажды возьми да брякни за трапезой:

– Сдается мне, что-то, батюшка, что мы замысел Божий насчет богоизбранных народов неправильно понимаем. Впадаем в тот же грех гордости, что иудеи в свое время. Думаем, что Господь *лучший* народ под Свою руку берет – а ведь это совсем не так, хоть на тех же евреев глянуть. А что, батюшка, если не лучший, а – *худший*? Чтоб его выправить, пока таких дел не наворотил, что и не поправишь? Про евреев и в Библии сказано – «народ жестоковыйный», потом Рим с Византией – так содрогнуться можно! Так может, и мы, русичи, богоносность не

«хорошестью», а мерзостью своей заслужили? Вы в окно посмотрите – вон он, богоносец без креста, прошел... А нам подавай Царя Православного – не так же ли евреи Мессию ждали? Дождались – и что? А может, и наш будущий Царь – не из дольного мира, а из горнего, и все предсказания о нем мы по-земному, по-скотски, трактуем? Так же, как и евреи своего Освободителя ждали, думали, от Рима спасет... А мы ждем, пока наш спасет от евреев... Так чем же мы лучше, батюшка? Они – «богоизбранники», мы – «богоносцы» – а на деле-то, может, хрен редьки и не слаще?

После беседы с директрисой она Игната за бабушку с работы не уволила – зато после той трапезы пришлось искать новый приход, куда он пришел уже с вошедшей в сознательный семилетний возраст болящей дочерью Машей.

К тому времени жены у него не было уже шесть лет, по собственной его вине: просто в свое время сердцем принять надо было, что тридцатидвухлетнему увлеченному своим делом учителю, преступно «запавшему» на собственную выпускницу, следовало не скоропалительно жениться на девчужке восемнадцати лет, а зубы сжав, чувство свое перебороть. Он же, умом прекрасно понимая, что радостно вступает на широкую дорогу к трагедии, послушался глупого сердца, будто было ему и самому лопушистых восемнадцать. Расплата наступила даже раньше, чем он сам ожидал: через полтора года двадцатилетняя свежеиспеченная мама, сама, по большому счету, еще на долгие годы подлежащая заботливому воспитанию и возвращению, спохватилась о своей «недогулянности» и, очертя голову, кинулась наверстывать упущенное. Очень скоро с новым избранником она оказалась в благополучной Европе, клятвенно пообещав забрать дочь, как только «устроится». Игнат возмечтал, чтоб она не устроилась никогда. Подленькая мечта, правда, не сбылась, но, устроившись вполне респектабельно, бывшая жена ребенка забирать не торопилась: видно не очень мечтал ее второй муж арийских кровей воспитывать чужую чисто русскую девочку. Последовало несколько резких телефонных разговоров, после чего счастливый отец почувствовал Машу своей неотъемлемой собственностью, позабыв на короткое время о том, что никому из смертных на этой земле никогда ничего не принадлежало...

Помогала ему сестра-двойняшка – единственная родная душа после смерти матери, воспитавшей их в одиночку. Она была уникальна, эта, наверное, последняя в России старая дева: в их поколении они еще попадались как исключение, в следующем же вымерли как класс. Совершенно не будучи поначалу религиозной, внешне симпатичная, светлоглазая шатенка Ариадна, тем не менее, отвергала возможность физической близости с мужчиной вне брака (скорей всего, попросту испытывая брезгливый страх, унаследованный от матери). Абсолютно естественно, что в конце двадцатого века жениться на ней на таких условиях никто не рискнул – и правильно, скорей всего, сделал: все эти нерешившиеся женихи потеряли, конечно, исключительного, преданного и надежного друга, но ведь не за тем же мужчины женятся! – и в этом смысле избежали они, конечно, ранней и обильной седины. Слово «любовь» для Ариадны с раннего девичества парадоксально являлось ругательным, невинный поцелуй на советском телеэкране с юности заставлял передернуться, а уж целомудренная постельная сцена в темноте и под одеялом вызывала припадок пуританского гнева и поток обвинений всего съемочного коллектива в «гнусности». Немудрено, что, на исходе третьего десятка уверовав в Бога и придя в Церковь, она стала одной из наиболее приближенных прихожанок о. Сергия. Имея высшее филологическое образование и владея двумя европейскими языками свободно и одним на уровне «читаю и перевожу со словарем», она презрительно отвернулась от всех широко распахнувшихся перед ней в перестройку дверей, решив протискиваться в пресловутые «игольные уши». Она предпочла участь домашней прислуги и кухарки у обожаемого батюшки, гордо называя себя его «хожалкой», в церкви исполняла послушание уборщицы и свечницы, а иногда, почитая это за особое счастье и доверие, читала, стоя на солее, благодарственные молитвы по Святом Причащении. Прописанная в одной квартире с братом и племянницей, она почти

постоянно жила в «келейке» в доме священника достаточно далеко за городом, причем Игнат, после памятного обеда с о.Сергием навсегда разругавшийся, случайно с изумлением узнал, что батюшка (не иначе, во избежание плотского соблазна для обоих) хожалку свою к месту работы в собственной иномарке не возит, предоставляя ей все прелести мотания в электричках, метро и автобусе, считая даже передвижение на относительно комфортной, но дорогой маршрутке для нее недопустимым баловством («смиряет» – была твердо уверена она).

Каменно надежная Ариадна, узнав о беде, постигшей их семью, примеру друзей не последовала. Это именно она в свои дневные свободные часы, пока Игнат учил истории нелюбознательных учащихся простой средней школы в спальном районе, а неизменный кумир ездил по трекам и политическим сходкам, возила Машу по врачам, процедурам и бесконечным анализам – и тут уж не таскала больную племянницу в общественном транспорте, а тайком от священника, подобной эмансипации не потерпевшего бы, садилась за руль братниного немолодого «Фольксвагена». Это она окончила краткосрочные курсы домашних медсестер и умела теперь делать любые самые сложные инъекции, овладела всеми приемами опытной сиделки. Это она с требовательным видом присутствовала на всех Машиных уроках, потому что та была, естественно, на домашнем обучении. Учителя, вынужденные практически бесплатно в таких случаях давать частные уроки, всегда норовят с надомниками халтурить – но под суровым оком Ариадны халява исключалась в принципе! Она сама занималась с Машей английским, выбрав его из трех языков, как самый необходимый, и однажды бурно разрыдалась перед Игнатом на кухне, передавая ему суровое мнение о.Сергия: детям, больным неизлечимыми болезнями, следует давать только обезболивающее, если нужно; для них лучше умереть до семи лет, чтобы получить возможность стать ангелами, а тяжелое лечение, способное лишь продлить их безрадостную жизнь на несколько лет, нужно не им, а эгоистичным родителям; в младенчестве, еще не задумавшись над понятиями жизни и смерти, умереть и морально легче, чем в юношеском возрасте, до которого только мучительными процедурами можно ребенка дотянуть; в шестнадцать он уже будет задумываться о своей незавидной судьбе, сравнивать себя со сверстниками – и может умереть в гибельном отчаянье и ропоте на Бога; кроме того, больной раком ребенок оттягивает на себя излишнее внимание, которое лучше бы распределить между здоровыми и перспективными детьми, а иногда родители вообще отказываются от рождения других детей, потому что уход за безнадежным требует слишком много сил и денег... «Сразу видно, что у него нет своих детей... или любимых племянников, – смущенно сморкалась она в салфетку, сама испуганная той крамолой на идола, которую произносила. – Своего бы, небось, лечил до последнего, а под смерть чужого легко, конечно, теоретическую базу подводить...». «А вот и не факт, – содрогнувшись, подумал, но не сказал Игнат. – Он не из того теста, чтобы двуличничать. Он бы и своего без колебаний отправил – того... к ангелам, особенно, если б девочка... Интересно, это особая стойкость в вере или черствость фанатика? Хотелось бы знать, чем одно от другого отличается...».

О. Сергей вышел из простецов, и при любом упоминании о нем, Игнат вдруг вспоминал большую статью в журнале. Статья касалась зверств фашизма, и повествовала о том, как за связь с партизанами немцы уничтожили целиком большую деревню, а жителей кого расстреляли, а кого сожгли в здании сельсовета. В статье приводились и воспоминания выживших очевидцев – тех, кому удалось незамеченными убежать в отряд. И вдруг за картиной запредельного садизма врагов встала и другая, не менее страшная, поразившая Игната картина. Воспоминания всех уцелевших женщин были замечательно похожи и, в общем, выглядели, с вариациями, примерно так: «Та ж выбихгаю з хаты – а на хгряде уси семеро моих хлопцев вбиты лежат... Та ж и мамка з ними... Я как захголошу-захголошу, та вдруг и думаю: тикать пора – та и побихгла, побихгла до партизанив...». То есть, женщина, выбежавшая среди ада стрельбы и огня из дома, видит на огороде семь своих застреленных детей-мальчиков и собственную мертвую мать. И самое страшное, что с ней произошло, – это она «заголосила», причем делала это

недолго и необидительно, потому что тотчас же спохватилась и, как ни в чем не бывало, побежала, спасая свою жизнь, к партизанам... У кого-то на «хгряде» лежали «дывчины и батько» – но суть от этого не менялась: женщины оказались в партизанском отряде, где до прихода Красной Армии героически стирали и кашеварили, а после войны все повторно повыходили замуж и родили еще не одного и не двух «хлопцев и дывчин» каждая... «Это вот что – нормально? – терзался Игнат. – Есть же в психиатрии термин "эмоционально тупой"! А может, именно это и есть – нормально? Ведь родились же потом новые дети, значит, все в порядке, род продолжен? Теперь можно с эпическим спокойствием рассказать об этом заезжему журналисту... А рефлексующая интеллигентка, оказавшаяся волею судьбы в подобной ситуации и немедленно умершая без пули фашиста от разрыва сердца на той же грядке или просто сошедшая с ума, – она в каком-то смысле была бы неправа перед Богом, слишком сильно любя тех, которые лишь временно ей доверены и кого в любой момент может призвать к себе настоящий Отец? Это же они, простецы, придумали: Бог дал – Бог взял...».

Может, и ему, Игнату, пора перестать рвать на себе волосы, и стоит взглянуть на дело с другой стороны, стороны Вечности и бессмертия? Больше не биться с заведомо непобедимой болезнью, тем более, Маша все равно «бросовый материал»: ведь род продолжить ей заказано, а иначе – для чего женщине и жить-то? Может, не будь он маловером, – с невозмутимо-мудрым прищуром смотрел бы, как под наркотиками умирает ясноглазая девушка, в пятнадцать лет пишущая такие стихи:

*У воды дождевой, у сирени,
У земли сорока островов
Попроси молодого горенья,
Крепкой крови, серебряных слов.
Попроси о великой победе,
Верной азбуке с буквою «ять»,
Долгом вдохе, божественном бреде,
Попроси дотерпеть, дстоять.
Но проходит пустая забота,
Тень струится над левым плечом.
Отражается в зеркале кто-то
И не просит уже ни о чем.*

О, Господи, не мог он на это пойти – и Ариадна не могла, в этом единственном пункте утвержденного о. Сергием списка ясных взглядов на жизнь с ним не соглашаясь... Десять лет они вдвоем бились за то угасающую, то неярко вспыхивающую жизнь девочки, не допуская и мысли, что свободное владение английским ей вовек не пригодится, что аттестат зрелости со сплошными пятерками никогда не придется отнести в Университет... Но вдруг за это время ученые найдут способ лечения рака – хотя бы именно этого рака! «Не найдут», – подсказывал из глубины души кто-то, осведомленный обо всем. «Пошел ты», – невежливо отвечал ему Игнат – и вот уже четыре года отвечал все увереннее и увереннее, потому что после восьми (последняя – по лезвию бритвы) химиотерапий все держалась и держалась стойкая и крепкая ремиссия. «Ну, еще годик! Хочешь, я буду причащать ее не раз, а два в неделю? – умолял он, не слушая, что поют на Литургии, а видя только словно светящееся лицо дочери, устремившей свои ланьи очи куда-то выше Царских Врат. – Еще годик – и можно будет сказать: пятилетняя безрецидивная выживаемость – а это уже кое-что!».

Он жил совершенным монахом, положив себе в виде искупительной жертвы не касаться женщин до выздоровления дочери, – и первые годы даже избежал мучительной борьбы с непокорной плотью. Неотступный, выматывающий душу и тело страх за дитя заглушил все воз-

можные позывы, а постоянный тяжелый труд ради денег на лечение (после полномасштабной нагрузки в школе он еще до ночи мотался по частным урокам) довершил дело, превратив его физически в измученное животное, засыпавшее раньше, чем голова касалась подушки.

Но потом, когда непосредственная угроза миновала, и полностью лысая головка дочери покрылась неожиданными пшеничными локонами, когда в темных ее глазах заиграла почти прежняя живость, и она начала выражать желания (самые простенькие: завести щенка, поплавать в заливе, купить лакированные туфельки), – тогда и он почувствовал, как в глубине его существа словно разжалось что-то, до того скрученное и придавленное. Он сам стал замечать, что вокруг цветет – Жизнь. Вот уже крутится у ног юный черно-белый сеттер, страстно полюбленный тринадцатилетней Машей с первого дня, когда Игнат принес его домой в шапке, только что вынутого из-под теплого материнского брюха и трогательно пищавшего; вот Маша звонко хохочет в своей комнате над похождениями доброго диснеевского персонажа, коллеги на глазах преобразуются из неинтересных бесполок теней в ухоженных привлекательных женщин, а ученики незаметно перестают быть в его глазах счастливыми и бессмертными, а превращаются в обычных мальчишек и девчонок, которым предстоит жить и умереть, как все, – еще очень-очень нескоро, может быть, даже в двадцать втором веке, примерно тогда же, когда умрет и Маша...

Два года он с изумлением присматривался к этой вновь обретаемой жизни, как с трудом выплывший на зеленый берег утопающий вдруг обнаруживает ранее незамеченных божьих коровок в траве, удивляется незнакомой синеве неба и человеческим голосам, так же радостно звучащим, оказывается, и в его отсутствие, пока он из последних сил боролся с жестокой черной водой...

Но любое переходное состояние не может длиться вечно – и всегда ждет разрешения, толчком к которому может послужить и незначительное, на поверку рядовое событие. А в жизни Игната событие оказалось немалое, испугавшее его до мозга костей, – уже только из-за одного этого следовало бы задуматься покрепче. Но... Задним умом-то, как тот же народ и подметил, все крепки!

Это началось в тот день, когда пропал Рики.

Глава 3

Если бы задним числом что-то можно было изменить в своей жизни, то она прежде всего спасла бы свою мать. Спасла бы и ради матери, и ради себя самой, потому что именно после этой смерти Женина жизнь подломилась под корень и так никогда и не выправилась.

Мама была худенькой, трепетной, как бы раз и навсегда чем-то испуганной женщиной, вечно немного съездившейся, словно в ожидании неминуемой пощечины. Может, она просто не сумела оправиться от первого подлого удара, когда на ней, восемнадцатилетней выпускнице финансового техникума, скоропалительно женился юный курсантик в замечательной черной форме, и целый год, до того, как превратился в лейтенанта, все увольнения проводил у нее. А через год, когда каждый получил то, о чем мечтал (она – девятимесячную беременность, а он – великолепный кортик и золотые погоны), молодой муж вдруг совершенно спокойно и без тени раскаяния на лице сообщил супруге, что регистрация брака ему нужна была лишь для того, чтобы в чужом Ленинграде иметь, кроме надоевшей казармы, еще какое-то постоянное место дислокации, куда можно приходиться за гарантированной вкусной едой и женскими ласками. А с ней это оказалось удобнее, чем с другими, потому что вон какая отдельная квартира ей от бабки досталась! Жаль, не догадался прописаться: сейчас бы через суд квартиру разменял и комнату в Ленинграде имел, так что пусть она еще спасибо скажет. Ребенок вообще не его – и быть такого не может, он это легко докажет; во-первых, потому что всегда был осторожен, а во-вторых, все увольнения свои записывал, и точно знает, что в пору зачатия их не имел –

да и вообще, они виделись раз в неделю, а то и реже, каждый жил, как хотел, он на верность и не рассчитывал...

В маминой семье, как назло, разведенная женщина приравнивалась чуть ли не к убийце: «В нашем роду разводов не водилось, так и знай! – сурово сказал ей отец, тоже морской волк, с основной женой принципиально не разводившийся, но по запасной имевший в каждом крупном советском порту, чего и скрывать не пытался. – Кому ты теперь нужна, с прицепом-то, кроме как в любовницы?». Считалось, что страшной участи на свете не существует, и поэтому, когда порядочный человек, заместитель директора ПТУ, предложил вдруг самый что ни на есть законный брак, не посмотрев ни на упомянутый «прицеп» в виде трехлетней крепенькой девчушки, ни на общую «подпорченность» невесты, семья восприняла его как благодетеля и избавителя и буквально выпихнула свою «паршивую овцу» замуж, невзирая на то, что особой влюбленности в нового жениха та не испытывала. Какое там! – лишь бы наспех затереть случайное грязное пятно на безупречной семейной репутации!

Но брак, в общем, сложился удовлетворительно – возможно, благодаря тому, что теперь, панически боясь даже тени недовольства мужа – с возможным вторым разводом в перспективе, мама полностью отказалась от своей личности, каких-либо мнений, вкусов и потребностей. Родив через год от мужа здорового сына Эдика, мгновенно превратившегося в центр вселенной для родителей (в то время как старшая всего лишь вечно некстати путалась под ногами), она с тех пор покорно делала по несколько аборт в год, так как, оказалось, наделена была необыкновенной плодовитостью, а об увеличении числа «захребетников» муж и думать ей запретил, ничуть при этом, правда свою супружескую активность не сократив, а в способы ограничения рождаемости не вдаваясь: дело, мол, бабье, ему вникать недосуг.

И поздней осенью Женя случайно подслушала роковой телефонный разговор матери с многоопытной коллегой-бухгалтером. Мама не знала, что в ту субботу в школе у дочери заболела учительница, и детей распустили на час раньше, – поэтому тихо вошедшая в прихожую четырнадцатилетняя Женя услышала вполне громкий, без оглядки на дверь, голос матери:

– ...осточертело, понимаешь? Уже со счета сбилась – то ли девятый, то ли десятый, а может, и больше... Самой противно, как сучка какая-то, честное слово! Ведь есть же женщины, которые только два-три сделали – и все, не беременеют больше! И, главное, как ни крути, а все равно всегда в больничку приходится: и со шкафа сто раз прыгала, и хину глотала, и в парилке раз чуть не сдохла – сидит намертво, хоть ты что поделай... А там – сама знаешь: все потроха выворотят без наркоза, и еще на тебя же наорут, как на последнюю... Будто я виновата... Нет, такого не пробовала... А что, помогает? Думаю, не больше четырех недель... А ты сама делала это? И чего – вот прямо сразу? Здорово. Конечно попытаюсь, хуже не будет... Подожди, я запишу лучше... Сколько ложек тертого мыла, говоришь? Хозяйственного обязательно? Вода теплая должна быть? Какое количество? Ага, ну, спасибо тебе! Так завтра прямо и организую, пока мой с Эдкой в цирк пойдет, а старшая, как всегда, к подружке... Да чего там, терять-то все равно нечего...

Вот в этом последнем мама принципиально ошиблась: она потеряла именно все – вообще все, что бывает у человека. В середине восьмидесятых годов двадцатого столетия ученицы восьмого класса уже давно не ходили на розовые бутончики, и все проблемы женского бытия широко и откровенно обсуждались в отсутствие взрослых. Поэтому Женя прекрасно сообразила, что мать собирается устроить себе выкидыш, и даже про себя по-взрослому посочувствовала ей и мысленно пожелала успеха. Потому она и убежала к Светке на четвертый этаж сразу после того, как за отчимом и братишкой захлопнулась дверь, – чтобы мать не нервничала излишне, ожидая, пока дочь оставит ее одну в квартире. Она специально постаралась отсутствовать подольше, для чего, уговорив с подружкой бутылку кислого сухого вина «Рислинг», как раз вошедшего тогда в моду, и заев ее вязкими белыми бомбошками зефира, подбила сговорчивую Светку идти в кино на фильм «до шестнадцати»: обе они выглядели уже

вполне взрослыми девицами, да и накрасились по полной программе, так что в кинотеатр их пропустили беспрепятственно... А когда, беззаботно возвращаясь, подошли к своему подъезду, оттуда как раз отъехала зловещая машина «скорой помощи». Переглянувшись, они обе инстинктивно ускорили шаг...

Всю неприглядную правду девочка узнала только на поминках, когда две пьяные мамини сослуживицы обсуждали случившееся, перекуривая на кухне, а она, сжавшись в комок в уголке, никому не интересная и в расчет не принимаемая, напряженно слушала. Впрочем, женщины, скорей всего, наивно, как все взрослые, полагали, что ребенок думает о куклах и совершенно не понимает, о чем идет речь.

Оказалось, вернувшийся муж, к счастью, раньше сына зашедший в ванную помыть с улицы руки, обнаружил там уже давно мертвое голое тело жены – причем, оно сидело на дне сухой ванны поперек, выложив раскинутые ноги на бортик. Глубоко во влагиалище вставлена была зеленая резиновая трубка, поднимающаяся к пустой кружке Эсмарха, подвешенной на крючок для душа. Судебно-медицинская экспертиза установила, что несчастная погибла практически мгновенно от мозговой воздушной эмболии, потому что перед этим ввела себе в прямо матку не менее полулитра пузырившегося концентрированного мыльного раствора – по всей видимости, с целью прервать беременность раннего срока...

Что началось с того момента для ее мамы – над этим четырнадцатилетняя Женя еще не задумывалась, а вот она сама неожиданно-негаданно, но очень быстро оказалась в кромешном аду.

Женя привыкла доверять взрослым. Нет, она, конечно, знала, что не следует идти к незнакомому дяде в квартиру посмотреть на новорожденных котят или отправляться с незнакомой тетей на поиски ее потерянных в темном подъезде очков. Она также прекрасно отдавала себе отчет, что дядя Вадик ее не любит, а только терпит как неизбежность, сводя любое общение с ней до самого допустимого минимума, – но ведь и она сама вряд ли полюбила бы чужого ребенка, как своего; достаточно того, что не обижает, – и на том спасибо. Она была уверена, что удобная чистая комната с бабушкиным плюшевым ковриком на стене – ее неотъемлемая собственность в мире, а пока она учится, все потребное для ее жизни будет доставляться взрослыми, потому что так бывает у всех. Взрослые сами разберутся, как это лучше устроить, но обязательно устроят, потому что не может же быть иначе... Она окончит школу, потом – педагогический институт, станет учителем, получит распределение, начнет работать и обеспечивать себя, будет, конечно, помогать старенькому отчиму и брату – как же иначе? А потом выйдет замуж соответственно статусу – за инженера или доктора, родит детишек, и будут они жить не хуже других. Где именно – в этой ее комнате или на его площади – это уж как придется... В общем, когда первое острое горе схлынуло, Женя начала понемногу приспосабливаться к жизни без мамы, которая все равно ласкала ее только мимолетно и украдкой, чтоб, на дай Бог, не взревновал Эдик или не обиделся муж. Девочке было главное, чтобы ее не трогали, и все свободное время она теперь проводила либо в горячо сочувствовавшей семье Светки, либо в своей комнате за чтением.

Мать с отчимом собрали за эти одиннадцать лет неплохую, как искренне думала Женя, библиотеку, причем мама именно коллекционировала книги, практически никогда их не читая: так некоторые собирают коробки от спичек. «Приходит к нам в бухгалтерию Юрка – ну, пьяница этот, который вечно мелочи из дома тянет, чтоб на опохмелку собрать, – рассказывала она вечером мужу, хвалясь новым приобретением. – И говорит он: купите, бабоньки, книжку, душа горит – мочи нет... Всего тридцать копеек просит, глупый. Я смотрю на книжку, вижу – желтенькая такая, хорошенькая, такой у нас точно нету. Ну и купила, смотри, какая красивая...». Макулатуру мама тоже прилежно собирала, маниакально добываясь талончиков на книги, – и так в доме появились «Три мушкетера» и все их продолжения, «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», тетралогия «Проклятые короли», «Лун-

ный камень», «Женщина в белом», «Записки о Шерлоке Холмсе», перетряхнувшая сознание «Жизнь» Мопассана и его же «Милый Друг»... Мама открывала книгу, лежа в постели, честно пытаясь начать с первой страницы, кое-как осиливала ее, надолго застревала на второй и почти всегда засыпала на третьей, смущенно мотивируя это своей вечной усталостью. Следующим вечером, полностью забыв прочитанное, мама вновь одолевала его, но продирается сквозь сложный сюжет далее опять не хватало сил. Тогда она мужественно брала другую книгу, с тою же принципиальностью готовясь штурмовать ее до победы, – но и тут терпела очередное фиаско. Зато названия однажды взятых в руки книг застревали в памяти матери надолго, давая ей возможность небрежно бросать: «А, знаю, конечно...» – когда в разговоре с кем-то вдруг мелькало знакомое слово или словосочетание. Ну, а отчим демонстративно читал только газеты, снисходительно относясь ко всяческой «бабской блажи».

Совсем не то Женя: она впивалась в книгу с упорством энцефалитного клеща и высасывала их одну за другой, всегда жадно кося глазом в сторону ожидавшей своей очереди следующей... Сопоставляя свой семейный уклад с жизнью вымышленных персонажей, а также милой семьи с четвертого этажа, Женя начинала смутно догадываться о том, что жизнь ее чем-то жестоко обделена, но, казалось, обделена поправимо. Однажды она мимоходом спросила Светку, в какое училище та собирается после восьмого класса (это казалось чем-то само собой разумеющимся и подлежало только уточнению), – и вдруг столкнулась с полным непонимания взглядом подруги: «Ты что, какое училище? Зачем? Я пойду в девятый и десятый, а потом поступлю в мединститут». И действительно, вспомнила Женя, у нее ведь папа – зубной врач, а мама – руководитель самодеятельного театра, значит, и сама Светка должна стать кем-то вроде этого... Все правильно. А ей, Жене, значит, нужно поступить в какое-нибудь интересное училище, например, где учат на продавца или кондитера – не в институт же идти... И она вдруг застыла на месте: а почему нет?! Кто ей запретит, ведь у нас все пути для молодежи открыты! Жене всегда нравилась профессия учителя литературы – она ведь много читает, и не только по программе – но почему-то никогда даже в мыслях на институт не замахивалась, считая, что это для нее как-то слишком... высоко, что ли... Да и в доме все твердят – выбирай училище, выбирай училище, узнавай, какие вступительные экзамены, и готовься... А вот не будет она готовиться! Учится без троек, так что в девятый с радостью переведут, она пойдет на подготовительные курсы в институт Герцена и прекрасно потом выучится на учителя – назло всем, вот так! Но, когда девочка в подходящую минутку заявила о своем решении матери, вдруг увидела в ее глазах тот же вопросительный знак, что и у Светки. «Так долго учиться? Зачем? – удивилась она. – Ведь учителям же копейки платят. Нашла бы приличную профессию, в торговле, например, чтоб гарантированный кусок хлеба с маслом, – мало ли, как жизнь обернется... Хоть сыта будешь... А учитель... Хм... Что это на тебя вдруг нашло? Нет, если ты так уж хочешь, я, конечно, возражать не буду, а все-таки подумай: еще семь лет за партой! А так бы три года – и самостоятельная. Да ладно, время еще есть, ты только с решением не затягивай: если передумаешь, то надо начинать готовиться...». Но Женя не собиралась передумывать. Она порой ощущала на спине некий бодрящий холодок задора: а ну, как сбудется!

И после смерти матери девчонка еще долго утешала себя мыслью, что вот хоть и стала сиротой, а в жизни все равно своего добьется и, став учителем, шагнет куда-то в другой... класс? Нет, в школе давно объяснили, что классов существует только два – рабочие и крестьяне, а еще есть социальная прослойка – интеллигенция. Это раньше, при царизме, были классы, а теперь все равны, но ведь как-то назвать это нужно? Может, другой... мир? Да все равно, как это называется, главное, что жизнь, в любом случае, пойдет иначе, чем у мамы, – еще непонятно, как, – но мечтать об этом перед сном в постели – такое утешение!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.